

# ПРИШЛЫЕ

A surreal landscape featuring a wide river or canal. In the background, there are industrial structures, including a large silo and several large, rusted, circular objects that look like shipwrecks or industrial components. The sky is a hazy, muted orange-brown. In the foreground, a man and a young boy stand on a dark, cracked, and debris-strewn shore, looking across the water. In the water, a glowing green, ethereal figure of a person is visible, surrounded by vertical green light beams and a shimmering, particle-like aura. The overall mood is mysterious and otherworldly.

ЭДУАРД СЕРОУСОВ

# Эдуард Сероусов

## Пришлые

*<https://litres.ru/74141949>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Марк — водяной, смотритель насосной в маленьком речном городке. Семь месяцев назад в устье реки, за сто вёрст, село огромное чужое, и жизнь замерла в ожидании: не мир и не война, а ружьё у двери. Однажды утром вода в его реке меняет цвет. Она поднимается снизу, помимо всякого русла, — и оказывается, что уходить некуда: ни за перевал, ни вглубь, ни к родне. Придётся выбирать между заслонкой, силой и тем немислимым, что умеют только дети — сводить две воды в одну. Тихая, взрослая повесть-катастрофа о цене, ксенофобии и невозможности отвернуться.

# Содержание

Часть первая. Цвет воды	4
Часть вторая. Лу	16
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Эдуард Сероусов

## Пришлые

### Часть первая. Цвет воды

Вода в стакане была не того цвета, и Марк дал себе восемь секунд, чтобы свалить это на рассвет.

Он поднял стакан к восточному окну. В этот час свет шёл сквозь тополя зелёно-золотой, ложился на всё в кухне — на клеёнку, на нож, на кружку с отбитым краем, которую он всё не убирал с полки. Стекло в руке налилось этим светом и подкрасилось им, и вода внутри взялась той же зеленью. Тополя, значит. Он поставил стакан, не выпив.

Проверять он не переставал никогда. Не с тех пор, как слегла Ильза, — раньше, всегда: ремесло. Кто ходит за водой, читает её, как другие читают лицо. Цвет на просвет, взвесь у дна, запах на выдохе после первого глотка, вкус металла или его отсутствие. Вода не спорит и не жалуется. Она находит, где ниже, и уходит туда, и всё, что от человека требуется, — знать её ходы наперёд.

— Опять смотришь в стакан, — сказал Тео от порога. Стоял уже одетый, в свитере на вырост, с рукавами по костяшки.

— Смотрю.

— Что там?

— Свет, — сказал Марк и вылил воду в раковину. — Обувайся.

Насосная стояла в двухстах шагах от дома, у излучины, — бетонный куб, вросший в берег, обжитой Марком плотнее, чем дом. Он отпер, впустил мальчика вперёд, привычно пригнул ему ладонью голову под низкой балкой — рука сама, без мысли, как закрывают за собой дверь. Внутри держался ровный холод труб и запах, который приезжие звали затхлым, а Марк — рабочим: ил, хлор, мокрый металл, что-то ещё, чему не было имени, но чего отсутствие он услышал бы сразу.

Он положил ладонь на подающую нитку. Так он и читал — рукой, не приборами. Насос бил под пальцами ровно, как пульс здорового: сорок в минуту, без сбоя, без каверны, без той дрожи, что означает воздух в системе. Вода шла. Он закрыл глаза и слушал её ход по железу — не ухом, кожей ладони, — и всё стояло на своих местах, как стояло тридцать лет.

— Дай послушать, — Тео подошёл, потянулся к трубе.

Марк подвинулся, освободил ему место на холодном железе.

— Что слышишь?

— Гудит.

— Гудит — это мотор. Ты воду слушай. Под мотором.

Мальчик зажмурился, старательно наморщив лоб — Ильзину складку между бровей, её же, чужую Марку и родную

ей. Марк смотрел сверху на это лицо, на скулы не своей крови, и ловил в себе то, что ловил всегда рядом с мальчиком: тепло, к которому тут же приставала обида, как ил пристаёт к решётке, сколько её ни выбирай. Он снял ладонь мальчика с трубы на секунду раньше, чем стоило.

— Ничего я не слышу, — сказал Тео, открывая глаза.

— Научишься. — И, чтобы не тянуть эту нитку дальше: — Или не научишься. Не всем дано.

Он вышел на мостки — проверить решётку водозабора чуть выше по течению, там, где река отдавала часть себя в трубу городка. Река в этот час лежала гладкая, стальная, без солнца ещё на дне. Он прошёл её взглядом, как проходил каждое утро: от того берега к этому, сверху вниз, как читают строку. И на середине строки взгляд запнулся.

Там, выше по течению, у левой отмели, в воде тянулась нить.

Не блик. Блик жёлт, дробен, дрожит на ряби. Эта была ровная, тонкая, чуть ниже поверхности — и зелёная. Не тинной зелёная, не зацветшей стоячей водой. Другой зеленью. Той, от которой на затылке подымается волос, потому что глаз знает раньше головы: так вода не светится. Так не бывает — чтобы вода в реке несла собственный свет.

Марк стоял и смотрел, пока нить не втянуло течением и не размыло в общей стали. Секунд десять. Потом её не стало.

— Что там? — Тео вышел следом на мостки.

— Ничего. — Марк отвернулся к решётке, взялся за

скользкий ил на прутьях, стал выбирать. Руки делали своё. — Свет. Иди поставь чайник.

Мальчик ушёл. Марк выбрал сетку дочиста, хотя чисто было и без того.

Вниз. Она всегда вниз. Что бы там ни село, в устье, за сто вёрст, — оно ниже, оно в море, оно не сюда. Вода не течёт вверх. Он знал это твёрже, чем своё имя.

Он ещё раз прошёл реку взглядом — сверху вниз, от того берега к этому. Ничего. Гладкая сталь без единой нити. Он вытер руки о штаны и пошёл в дом ставить с мальчиком чайник, унося в себе ту зелёную нить, как заносят занозу под ноготь: вроде и мелочь, а рука уже помнит, где болит.



На кухне, у притолоки, висел календарь — из тех, что раздают на заправке, с трактором на глянцевой обложке. Марк снял чайник, пока не засвистел, разлил кипяток по двум кружкам. Пока Тео дул на свою, Марк стоял к нему спиной, у календаря, и большой палец сам находил нужную клетку.

Восемнадцать. Он считал не вслух и даже не цифрами — телом, как считают до отпуска, до срока, до конца. Восемнадцать дней до конца месяца, когда сойдёт вода на дорогах, откроют перевал, и он посадит мальчика в попутку до Саны.

Он не говорил этого мальчику. Он и себе-то проговаривал не всеми словами. Ильзиной сестре — «пока не устроится», «тут ему со мной, бобылём, несладко», «у тебя дом, огород, глубь, чистая вода, школа под боком». Все слова были прав-

дой. Правда — она такая: наберёшь её полную горсть, а на самом дне обида, и её не отмоешь никакой правдой.

Он вышел на крыльцо с телефоном. Связь тут держалась одной палкой, и то у столба.

— Сана.

— Марк. — Далёкий, тёплый, всегда чуть виноватый голос. — Как он?

— Нормально. Растёт. — Марк смотрел на реку в просвете между домами. — Дороги вот-вот встанут сухие. К концу месяца думаю его к тебе.

Пауза в трубке.

— Ты не гони, — сказала Сана. — Если тебе с ним трудно — это одно. А если ты не хочешь его отдавать, а гонишь себя...

— Ему у тебя будет лучше. — Он сказал это ровно, как читал воду на просвет. — У меня скважина, река, я на работе сутками. А у тебя школа, глубь, чисто. Всё при нём.

— Марк.

— К концу месяца, — сказал он и убрал телефон в карман. Он постоял на крыльце, дал лицу остыть на речном ветру, и вернулся в дом.

Тео сидел над кружкой — над её кружкой, с отбитым краем; Марк только теперь увидел, что мальчик снял с полки именно её, — и не пил. Смотрел на Марка снизу тем ровным, наблюдающим взглядом, от которого всегда становилось не по себе, потому что мальчик видел больше, чем говорил, и

говорил куда меньше, чем видел.

— Ты считаешь дни, — сказал Тео.

Не вопрос. Марк открыл было рот.

— Я вижу, как ты смотришь в календарь. Пальцем, — сказал мальчик. — Каждое утро в одно место.

— Пей, стынет, — сказал Марк и отвернулся к раковине, где мыть было нечего, и стал мыть пустую посуду по второму разу.

За спиной было тихо. Потом звякнула о столешницу оставленная кружка — её кружка, — и мальчик ушёл во двор, и Марк слышал через открытое окно, как он там что-то перебирает, раскладывает по своей всегдашней надобности: по цвету. Мальчик собирал мир по цвету — пробки, осколки бутылочного стекла, окатанные камешки — и выкладывал их рядами на доске у сарая, от тёмного к светлому, и в этом было что-то, чего Марк не умел ни понять, ни пресечь, ни у кого спросить, потому что спросить было не у кого: та, что поняла бы, лежала на горе за церковью.

Он стоял над сухой раковиной, держась за её холодные края, и вода в трубе под полом шла, шла, ровно шла, и это было единственное, что он умел слушать без боли.



Вечерами дом стоял слишком большой.

Он строил его на троих — на себя, Ильзу и мальчика, что шёл с ней в приданое, — надстроил комнату, провёл воду, всё как у людей. Теперь в нём было двое, и лишняя комна-

та стояла закрытой, и Марк обходил её, как обходят на реке яму: знал, что там, и не совался.

Тео сидел у окна над своей доской, раскладывал добычу дня. Он приносил с реки и с улицы всякую цветную мелочь — стекло, пробки, обкатанные железки, — и выкладывал рядами, от тёмного к светлому, подолгу, сосредоточенно, и в этих рядах была своя, недоступная Марку грамота. Ильза понимала. Ильза садилась рядом и спрашивала: а это какого цвета, по-твоему, — и мальчик отвечал длинно, и они говорили на языке, которого Марк не знал и не выучил, потому что всё думал — успеется.

— Мама так же делала, — сказал Тео, не оборачиваясь, будто услышал. — По цвету. Только у неё были нитки. Мулине. — Он подвинул зелёную стекляшку на место в ряду. — Ты выбросил.

— Что выбросил?

— Нитки. После. Я видел, в мешке.

Марк стоял с полотенцем в руках и не помнил этих ниток, и оттого, что не помнил, стало нехорошо — будто выкинул, не глядя, что-то живое. Он выбрасывал тогда много. Целый месяц выбрасывал — её кофту, её тапки, её щётку с волосом, — выносил в мешках торопливо, будто тушил пожар, будто, если убрать вещи, уйдёт и то, что за вещами. Не ушло. Осталась только кружка, которую рука почему-то не подняла вынести, да вот, оказывается, мальчик, что видел мешки.

— Надо было спросить, — сказал Марк. Это было ближе

всего к «прости», что он умел.

— Я знаю, где такие продаются, — сказал Тео. — В области. Можно новые купить.

— Купим, — сказал Марк. И, чтобы не длить того, что подступало к горлу: — Как дороги встанут. Купим.

Он не сказал «когда повезу тебя к Сане». Мальчик не сказал, что услышал недоговорённое. Они помолчали вдвоём, каждый над своим, — мужчина с полотенцем, мальчик с цветными рядами, — и между ними стояла женщина, которой не было, и её нитки в мешке на свалке, и всё то несказанное, что копится, когда думаешь, что успеется.

За окном садилось солнце в реку. Река была ещё стальная — своя, чистая, обыкновенная, — и в ней отражалось небо, и ничего в ней не светило чужим, и Марк, глядя на неё поверх склонённой головы мальчика, думал ту привычную, ежевечернюю мысль: вот сойдёт вода, откроют перевал, и станет проще. Он звал это «проще» и не звал по имени — что «проще» значило пустой дом, закрытую комнату и одного себя над трубой, которую умеешь слушать без боли, потому что труба не спрашивает про нитки.

Он не знал ещё, что через три дня река перестанет быть стальной. Что «проще» не будет уже никогда — ни такого, ни другого. Что женщину, которой нет, скоро станет некогда оплакивать, потому что живых придётся спасать, — и что мальчик с цветными рядами окажется не обузой, которую надо сбыть, а единственным на свете, кто умеет читать тот

цвет, от которого будет зависеть всё.

Но пока он просто вытер сухую посуду, и они легли, и дом стоял слишком большой, и река за окном была ещё своя.



К полудню в лабазе у Пекаря собрались, как всегда, — не за хлебом, за радио. Приёмник стоял на прилавке между весами и счётами, и голос из области говорил ровно то же, что вчера, теми же обкатанными словами: «очаги стабильны», «прибрежная линия под наблюдением», «оснований для эвакуации не имеется».

Прошло семь месяцев с той ночи, когда небо над устьем исчертило тормозящими огнями, и весь городок высыпал на берег в исподнем, и кто плакал, кто крестился, кто орал в темноту «мы не одни». Семь месяцев назад это было самое большое, что случилось с людьми за всё время, что есть люди. Теперь оно стояло там, в дельте, за сто вёрст, — севшее, молчащее, никого не тронувшее, — и самое большое в истории мира сделалось тем, о чём говорят вполголоса у приёмника, между ценой на солярку и чьими-то похоронами.

Они не нападали. Вот что было хуже всего и вот что держало городок на одной ноге — не мир и не война, а это ожидание с ружьём у двери. У половины мужиков теперь стояло ружьё у двери. У Марка не стояло. Он не знал, в кого из него целиться.

— А я говорю, их жечь надо, пока не расплодились, — говорил Кос, сосед через два двора, тыча коротким пальцем

в приёмник, будто они сидели там, внутри. — Чего ждём-то? Пока по дворам пойдут воду нашу пить?

— Они в устье, Кос, — сказал Марк, не подходя. — Сто вёрст. И вниз от нас по реке. Что вода несёт, то несёт в море, не к нам.

— Ты почём знаешь?

— Я вода, — сказал Марк, и в городке это принимали за довод, потому что так оно и было: если Марк говорил про воду, спорить шли к дураку. — Река идёт вниз. Скважина бьёт из-под нас, из своего. Нас это не достанет.

Он сам верил в это ровно настолько, насколько верил в рассвет, свернувший цвет в утреннем стакане. То есть — хотел верить, и слова помогали держаться. Слова — они как заслонка на трубе: пока держишь закрытой, вода стоит, и можно жить так, будто её и нет.

Кос ещё поворчал и отстал. Марк взял, зачем приходил, — соли да керосина, — и пошёл берегом домой, длинной своей дорогой, вдоль воды. Он всегда ходил вдоль воды. Она была ему как соседу забор — то, вдоль чего идёшь не думая и знаешь, что дома.

Тео он нашёл на отмели, ниже насосной, где мальчик любил торчать после уроков, — школа работала через день, один учитель на два класса. Тео сидел на корточках у самой кромки и что-то разглядывал в мокром песке.

— Не лезь в воду, — сказал Марк по привычке.

— Я не лезу. Смотри.

На песке, у самых ног мальчика, лежала рыба. Голавль, некрупный, пальца в три длиной. Мёртвый. Марк присел, взял его за хвост — рука сама, ремесло, — поднял к свету.

И рука остановилась на полдороге.

Рыба была не того цвета. Не тускло-серебряная, как всякая дохлая рыба, не с той радужной плёнкой протухания, что он видел тысячу раз на своём веку. По боку, вдоль хребта, шла зелень. Та самая. Ровная, чужая, чуть светящаяся даже здесь, на полуденном солнце, — будто под чешую ей налили другой крови и та проступила.

Тик поднял его руку выше, к свету, — «проверь цвет», — тот самый тик, что тридцать лет уберегал городок от мутной воды, от железа, от заразы, — и тот же самый тик держал теперь у самого его лица дохлого голавля, и по спине Марка от затылка вниз пошёл холод, тот, что глаз знает раньше головы, а голова догоняет после.

Вода не течёт вверх. Он знал это твёрже своего имени.

Но рыба была отсюда. Из его реки. Выше водозабора.

— Он какой-то красивый, — сказал Тео тихо, глядя на зелень по хребту. — И мёртвый.

Марк опустил рыбу на песок — очень осторожно, будто она могла разбиться, будто это она была стеклом, а не он. Он выпрямился и посмотрел вверх по течению, туда, где утром тянулась нить, и река лежала гладкая, стальная, пустая.

И тихая. Он только теперь услышал — до чего тихая. Ни куличка на отмели, ни цапли на той стороне, ни всплеска.

Птицы ушли с воды. Когда — он не заметил.

— Иди домой, — сказал он мальчику, и голос вышел не тот, и Тео это услышал и встал сразу, без спора, чего почти не бывало. — Руки помой. Из бака, не из реки. Из бака, слышишь меня?

Мальчик пошёл к дому. Марк остался стоять над зелёной рыбой у пустой тихой воды, и заслонка, которую он держал закрытой все семь месяцев, чуть подалась под напором — и в узкую щель потянуло холодом снизу, из-под земли, откуда он ещё не знал, что оттуда и потянет.

## Часть вторая. Лу

Сирену в городке пускали раз в год, на майском смотре, и когда она завыла на третье утро, все сперва решили — горит. Пожар понятен. К пожару у людей есть руки.

Марк был уже на насосной, когда прибежал не Тео — чужой мальчишка, пекарев, — и, глотая воздух ртом, вытолкнул, что у водозабора беда, что Глуховы, что вода.

Он бежал берегом, длинной своей дорогой вдоль реки, и обгонял бегущих улицей, потому что знал короткие тропы так же, как знал ходы воды. У водозабора уже сбилась толпа — десяток, полтора. Старуху Глухову вели прочь под руки; старик сидел на земле у самой кромки, и его рвало — черно, страшно, — и по подбородку текло, и он всё тянулся к реке зачерпнуть, промыть рот, а его оттаскивали за плечи.

— Не давай ему! — кричали. — Из реки не давай пить!

Марк присел у воды, у самого зева водозабора, и сделал то, чего рука не умела не делать: зачерпнул полную горсть, поднял к свету.

Вода в ладони была зелёной. Не нитью теперь — вся, целиком. Ровная чужая зелень стояла в горсти, чуть светясь на солнце, и от неё тянуло запахом, которого у воды не бывает: не тиной, не гнилью — чем-то резким, чистым и неправильным разом, как тянет от вскрытой батарейки.

— Марк! — Над ним встал человек в чистом. Марк знал

его в лицо — командующий речным заслоном, что область поставила месяц назад; тот, чью долину, говорили, первой там и залило, ниже по краю. Восс. Он смотрел на воду в горсти Марка, и лицо у него было не испуганное — решённое, как замок на двери. — Оно здесь. Дошло до нас. Закрывай водозабор наглухо. Ставь щит на реку.

— Щит не поможет, — сказал Марк.

Он сказал это раньше, чем понял, откуда знает. А потом понял — рукой понял, той самой, что держала зелень. Он опустил ладонь обратно в воду, но не к поверхности — глубже, к самому дну водозабора, к галечному ложу, откуда всегда била донная подпитка. И там, у дна, зелень стояла гуще. Темнее. Сильнее, чем поверху.

Вода шла не по реке. Не сверху, не с устья, не тем путём, каким текут реки. Она поднималась снизу. Из гальки, из подземного, из того слепого хода, что связывает все воды под землёй помимо всякого рельефа и русла, — выходила здесь родником в его реку, выше водозабора, и оттого была отсюда, и оттого была выше, и оттого не текла вверх: ей и не надо было течь вверх. Она шла понизу и всходила, где хотела.

— Что ты несёшь, — сказал Восс. — Ставь щит на реку, перекрывай, и...

— На реку — без толку. — Марк поднялся, вытирая руку о штаны, и рука не оттиралась, будто зелень въелась в кожу. — Оно не по руслу идёт. Оно из-под земли. Из грунта, по всему слою. Щит на реке — это заткнуть одну дырку в ре-

ште. Оно обойдёт снизу. Оно уже снизу.

Восс смотрел на него, и в глазах у него была та особая глухота человека, у которого есть приказ и нет времени на воду, ведущую себя не по уставу.

— У меня, — сказал он тихо, — приказ держать линию по реке. Реку я и буду держать.

Старик у воды перестал тянуться к реке. Он завалился на бок, и его больше не рвало, и над ним закричала прибежавшая наконец баба, и толпа качнулась к ним, а Марк стоял с невытираемой ладонью и смотрел, как двое солдат волокут к воде мешки с песком — на реку, поверху, — заслонить городок от того, что уже стояло у людей под ногами и всходило из гальки. И понимал: заслонка сорвана. Вода нашла, где ниже. А ниже — оказалось, везде.



Вечером объявили норму: ведро питьевой на двор в день, с водовозки, что придёт из области; из реки — не брать, не мыть, скотину не поить. Городок принял это тихо, как принимают диагноз, — не веря до конца, но уже переставляя жизнь под новое слово.

Марк искал Тео. Он велел ему сидеть дома — и, стало быть, мальчик был не дома; Марк знал его недолгую, но твёрдую логику: где сказано не быть, там первым делом и надо посмотреть. Он пошёл к отмели, ниже насосной, и ещё издали, в густеющем сумеречном свете, увидел мальчика у воды — на корточках, в своей всегдашней позе собирателя.

И увидел, что мальчик не один.

Марк встал. Он потом не мог сказать, сколько простоял, — те же десять секунд, которыми он мерил всё чужое и непонятное.

Рядом с Тео, у самой кромки, было существо. Оно не читалось — глаз хватался за него аналогиями и всякий раз промахивался: не зверь, не человек, не то и не это. С мальчика ростом, может, чуть ниже. Оно держалось у воды, и по его коже — если это была кожа — шли медленные цветковые волны, как по воде идёт рябь, и в сумерках оно чуть светилось той самой зеленью, что стояла утром в ладони Марка, что текла по хребту дохлого голавля. Оно было из воды. Оно было той воды.

И мальчик тянул к нему руку. Ладонью вперёд, растопыренными пальцами — тем детским жестом, каким здороваются с чужой собакой: на, понюхай, я не бью.

— Тео, — сказал Марк тихо, чтобы не спугнуть, сам не зная, кого боится спугнуть. — Тео. Отойди. Медленно.

— Он не тронет, — сказал мальчик, не оборачиваясь. — Он маленький. Он как я.

Существо подняло навстречу — руку? отросток? — и тоже вытянуло к мальчику. Ладонью. Пальцы, если это были пальцы, растопырились навстречу растопыренным пальцам Тео. Они не касались — держали ладонь против ладони, в воздухе, на расстоянии выдоха, и по коже существа прошла волна, и оно сменило цвет — с зелёного на что-то тёплое,

охристоме, — и Марк готов был поклясться, что это был ответ. Что они говорили. Без единого слова, цветом и жестом, — и понимали друг друга лучше, чем Марк понимал хоть кого-нибудь за весь этот год.

Между их ладонями, в лужице на песке, вода тоже сменила цвет. Марк это увидел — и похолодел уже не суеверно, а точно, ремесленно: существо переносило воду. Смешивало. Там, где оно касалось лужи, зелень расходилась и светлела, будто существо разбавляло её собой, держало обе воды разом. Живой мост между двумя водами стоял у него на отмени, в трёх шагах от мальчика, и мальчик уже дал ему руку.

— Как ты его назвал, — сказал Марк. Не «не смей». Не «прочь от него». Само вышло — «как назвал», — потому что по лицу мальчика он уже видел, что тот назвал, что поздно.

— Лу, — сказал Тео и наконец обернулся, и в лице у него было то, чего Марк не видел у него ни разу: не приспособленное, не заработанное, без оглядки на Марка — открытое, полное, счастливое. — Его зовут Лу.

Марк смотрел на своего мальчика — на Ильзиноного мальчика, чужой крови, которого он про себя считал дни как сбыть родне, — и на живую мишень, живой яд, живой мост, которому мальчик уже дал имя, и понимал, что то самое, огромное, о чём вполголоса у приёмника, стоит теперь у него во дворе, держит его мальчика за руку через воздух, и никакой заслонкой этого уже не закрыть.

— Домой, — сказал он. — Оба. — И сам вздрогнул от

этого вырвавшегося «оба».

Существо будто поняло. Оно опустило ладонь, качнулось к воде — и втекло в неё, без всплеска, как втекает пролитое, и зелень сомкнулась над ним. Тео смотрел ему вслед, и Марк смотрел на Тео, и между ними теперь стояло третье, у чего было имя.



Фургон стоял у лабаза, когда Марк вёл мальчика домой, — реквизированный, судя по замазанной вывеске хлебозавода на борту, и от него тянуло соляркой и ровно тархтел генератор в темноте. На боку от руки было выведено по трафарету что-то про полевую станцию, и у откинутой задней двери, в свете переноски, сидела женщина и смотрела в пробирку на просвет.

Она подняла глаза на Марка — и сразу мимо него, на руки мальчика. На пальцы Тео.

— Он трогал смешанную воду, — сказала она. Не спросила. Голос был ровный, выжатый досуха, без запаса на вежливость — голос человека, который давно не спит и перестал тратиться на «здравствуйте». — Давно?

— Кто вы, — сказал Марк.

— Асани. — Она встала, вышла в круг света. Немолодая, сухая, с полевой сумкой через плечо, и руки в пятнах — таких же зеленовато-охристых, как сейчас у Тео, только застарелых, въевшихся в складки кожи. — Экзобиолог. Была. Теперь — вот это, — она повела рукой на фургон, на пробирки

в штативе, будто в них и заключался весь её нынешний чин.  
— Пальцы у мальчика свежие. Давно трогал?

— Сегодня, — сказал Тео прежде Марка. — Лужу. Где Лу был.

— Лу, — повторила Асани, и что-то дрогнуло в её выжатом лице — не удивление, узнавание. — Вы дали ему имя. — Она посмотрела на Марка почти с состраданием, отчего ему стало совсем нехорошо. — Тогда вы уже внутри.

— Мы ни в чём не внутри. — Марк слышал в своём голосе Коса, слышал Восса, слышал заслонку и держался за неё обеими руками. — Утром поставят щит на водозаборе. Область воду возит. Перевал вот-вот откроют. Пересидим.

Асани сняла со штатива две пробирки и подняла обе к переноске, рядом, чтоб он видел.

— Смотрите, — сказала она. — Я не прошу верить. Я прошу посмотреть.

В левой вода была зелёная — та. В правой чистая, обычная. Она чуть наклонила обе и слила по капле в третью, пустую, — и в третьей зелень пошла по чистой медленно, как чернила расходятся в стакане, и заняла всё, до дна, и стало две пробирки зелёного из одной зелёной и одной чистой.

— Оно не разбавляется, — сказала она. — Оно засеваётся. Каждая связанная с ним вода становится им — не смешивается, а перерождается. А связано между собой — всё. — Она поставила пробирки в штатив. — Ваш щит на реке — это доска поперёк одной струи. А оно идёт понизу, по грун-

ту, по всему водоносному слою, помимо реки, помимо рельефа. Выходит родниками, где ему удобно. Хоть выше вас. Хоть прямо под вами.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.